

Кукуша

**Филолог
(Кукуша #3)**



Кукуша
Филолог (Кукуша #3)

«Автор»

2026

Кукуша

Филолог (Кукуша #3) / Кукуша — «Автор», 2026

Третья часть сериала о Кукуше — гимн любви и оранжевому счастью. Философ Аглая Ветрова переживает личную революцию: в её коммунальном раю (читай — общежитии) появляется Павел, филолог с глазами цвета мокрого асфальта и страстью к литературным нормам. Пока Кукуша лечит соседей мандаринами и налаживает онтологические двери, Павел доказывает, что «кофе» не терпит среднего рода, а лучший способ признаться в чувствах — прочесть стихи между супом-пюре и компотом. Их союз проверяет профессор Кротов, благословляет баба Зина с пирожками, а дядя Гриша обещает сохранить мандарин до рождения первенца. Кукуша произносит доклад о «мандариновой феноменологии», едва не провалившись от страха, но получает «отлично» и предложение руки и сердца. Оказывается, даже Хайдеггер понял бы: счастье — это когда один человек смотрит на другого и видит душу. И мандариновую корку в волосах. Весёлая, тёплая и точная история о том, как из хаоса быта рождается соборность, а из двух одиночеств — одна грамотная любовь.

© Кукуша, 2026

© Автор, 2026

Кукуша

Филолог (Кукуша #3)

Пролог, в котором мандарины вернулись, а любовь заговорила стихами

После пожара на кухне прошло две недели, четыре дня и семь часов — Кукуша считала, потому что без плиты жизнь потеряла половину смысла, но вторую половину, как ни странно, приобрела.

Тётя Люба, комендантша с железным характером и мягким сердцем (она плакала над каждой серией «Улиц разбитых фонарей» и при этом могла одним окриком остановить драку трёх пьяных второкурсников), всё ещё косилась на Кукушу, но запрет пользоваться плитой оставался в силе. На дверях кухни висело объявление, напечатанное на принтере, с рамкой из кошачьих лапок, скопированных из интернета:

«Ветровой (Кукуше) — вход воспрещён. Для приготовления пищи использовать только микроволновку, и то без экспериментов. Подпись: комендант Любовь Ивановна (тётя Люба). Срок запрета — до особого распоряжения».

Кукуша не обижалась. Она даже была благодарна — отчасти. Теперь у неё появилось больше времени на философию, на круги, на размышления о соборности и — самое главное — на Павла.

А Павел, тот самый филолог с умными глазами (цвета мокрого асфальта, если верить Кукуше) и длинными пальцами, которые пахли книжной пылью и почему-то корицей, не уехал в марте. Он продлил отпуск — сказал дяде Валерию, что пишет диссертацию о языковой картине мира в прозе Набокова. Дядя Валерий, который работал инженером на закрытом заводе и ничего не понимал в филологии, но гордился племянником, только крякнул и выдал аванс на три месяца вперёд.

На самом деле Павел ходил с Кукушей в кино (смотрели какой-то артхаус про японского поэта, уснули оба), читал ей стихи на скамейке у подъезда (от Блока до Бродского) и спорил о том, можно ли считать «кофе» среднего рода. Кукуша считала, что **можно, если кофе растворимый**. Павел пожимал плечами и цитировал словари: Розенталя, Лопатина, даже Ожегова — по памяти, чем производил на Кукушу неизгладимое впечатление.

— Ты ходячая филологическая энциклопедия, — сказала она ему однажды, когда он объяснил разницу между «одеть» и «надеть» в десятый раз.

— Нет, — ответил Павел. — Энциклопедия — это скучно. Я ходячий **синдром отличника**. Это диагностировано.

Мандарины в магазинах наконец-то появились. Вьетнамские, зелёные, с тонкой шкуркой и кисловатые — не такие сладкие и ароматные, как зимние, абхазские, но Кукуша была счастлива. Она купила **три килограмма** на деньги, которые заняла у Насти (Настя сказала: «Это мои последние пятьсот рублей, Кукуша, ты мне должна будешь до пенсии. И ещё проценты — пять мандаринов в год, иначе буду жить у тебя»), и раздала их всем соседям.

Дядя Гриша взял два. Один съел сразу, прямо в коридоре, не чистя — кожуру выплюнул в урну. Второй положил в бардачок своей «копейки» — «на чёрный день, когда философия кончится, а мандарины останутся».

Баба Зина, увидев мандарины, всплеснула руками:

— Мандарины в марте — это как любовь в старости. Поздно, но приятно.

— Баб Зин, какая старость? — возмутилась Кукуша. — Вам всего семьдесят два.

— Внучка, — сказала баба Зина, — когда тебе стукнет семьдесят два, ты поймёшь, что каждый мандарин — подарок судьбы. А каждое доброе слово — мандарин.

Валерий Степанович взял целых пять, долго перебирал их, будто оценивая качество, потом написал в районный чат МАХ:

«Мандарины хорошие. Спасибо, Аглая. Заходите на блины. В субботу в 18:00. Жду всех. Кто не придёт — тот не уважает трудовой народ».

Лена с Артёмом устроили фотосессию: малыш сидел в коляске с мандариновой коркой на голове (Лена надела её как шляпу, не удержалась) и радостно кричал «**ма!**». Лена выложила фото в соцсети с подписью: «Мандариновый король нашего двора. Спасибо, Кукуша, за счастье». Под постом собралось сорок два лайка и комментариев от неизвестного «А мандарины-то не мытые?» — Лена комментарий удалила, а автора заблокировала.

Аня и Катя, две вечные студентки-заочницы, которые жили на третьем этаже и вечно спорили, кто из них красивее (обе были красивые, но с разной степенью осознания этого факта), пришли в общежитие, съели половину запасов и заявили, что Кукуша — «фея мандаринового измерения» и «существо, не поддающееся земной классификации».

Павел не ел мандарины. Он смотрел, как Кукуша ест, и улыбался.

— Ты похожа на бурундука, — сказал он однажды, когда Кукуша закинула в рот шестую дольку за минуту.

— Бурундуки делают запасы на зиму, — ответила Кукуша с набитым ртом. — Я делаю запасы счастья. Это разные вещи.

— Бурундуки тоже счастливы, когда орехи находят.

— Ты сравниваешь высокое с низким, — обиделась Кукуша, хотя на самом деле не обиделась, а притворялась. — Счастье — это категория экзистенциальная. Орехи — нет.

— А мандарины?

— Мандарины — это **медиатор между бытиём и повседневностью**. Хайдеггер не понял бы, а Соловьёв — понял бы. Он любил цитрусовые. Я читала его письма.

— Он любил апельсины, — поправил Павел. — В письмах к сестре он упоминает апельсины. Мандарины — это уже поздняя советская традиция.

— Ты споришь с философом о цитрусовых? — прищурилась Кукуша.

— Я филолог. Я спорю о словах. А слова «мандарин» и «апельсин» имеют разную этимологию. Хочешь расскажу?

— Не хочу. Хочу, чтобы ты сказал, что я милая.

— Ты милая, — сказал Павел. — Бурундук.

Кукуша засмеялась. Она вдруг поняла, отчётливо и бесповоротно, как математическую теорему, которую, наконец, доказали: **она влюблена**. Не в идею всеобщего счастья, не в мандарины (хотя они хороши), не в Соловьёва (он мёртв и, кажется, был женат на другой). В этого человека с очками (которые он постоянно поправлял, даже когда не нужно), который умеет готовить блины (с пылу с жару, с маслом и сметаной) и читает Пушкина наизусть — не только «Я вас любил», но и «Пиковую даму» целиком.

«Соловьёв, — подумала Кукуша, глядя на Павла. — Кажется, я поняла твою концепцию всеединства. Всеединство — это когда один человек смотрит на другого и видит не просто тело, а душу. И ещё — запятые. Павел любит запятые. Он расставляет их в моём сознании. Без них я была бы сплошным потоком сознания. С ними — я грамотный текст».

Она посмотрела на свои руки, перепачканные мандариновой цедрой. Потом на Павла. Потом снова на руки. И улыбнулась — так, как улыбаются люди, которые нашли что-то, что не искали, но очень хотели.

Глава 1. Лекция, на которую не надо было ходить (или как Кротов впервые улыбнулся)

В четверг у Кукуши была лекция по философии языка — спецкурс профессора Кротова, на который записывались только самые отчаянные, потому что Кротов не прощал ошибок, не принимал «на отвали» и мог выгнать из аудитории за неподготовленный вопрос. Но Кукуша любила этот спецкурс. Любила за то, что Кротов, при всей своей желчности, был **честен**. Он не врал, не украшал, не подлизывался к деканату. Он просто знал философию и требовал, чтобы другие её знали.

Она пришла в аудиторию раньше всех — в 9:45, хотя лекция начиналась в 10:00. В аудитории пахло мелом (вечным, ничем не выводимым), старыми книгами (библиотека философского факультета была гордостью МГУ и проклятием всех аллергиков) и почему-то котлетами из столовой — запах просачивался через вентиляцию, создавая странный ассоциативный ряд: Платон, котлета, Аристотель, котлета, Кант — опять котлета.

Кукуша положила на стол конспект (исписанный вдоль и поперёк, с полями, заполненными вопросами к самой себе), мандарин (для вдохновения — она верила, что цитрусовый запах стимулирует мозг, хотя научных подтверждений не было) и плеер с Шостаковичем (на случай, если Кротов начнёт говорить слишком медленно — тогда она включала Симфонию №7 и слушала её краем уха, чтобы не уснуть). Она достала ручку, починила её (сломалась пружинка, пришлось дуть в стержень — это сработало), и приготовилась писать.

Профессор Кротов, как всегда в своём неизменном свитере (сером, с вытянутыми локтями и крошечной дырочкой на левом рукаве, которую он отказывался зашивать — «это напоминание о суровых девяностых»), вошёл ровно в 10:00, окинул аудиторию мрачным взглядом (взгляд этот действовал на первокурсников как ультразвук на грызунов — они съживались) и начал без приветствия:

— Сегодня мы поговорим о соотношении языка и бытия. Как вы знаете, Хайдеггер утверждал, что язык — это дом бытия. В этом доме, однако, живут не все. Некоторые ютятся в подвале, некоторые — на чердаке. Вопрос: кто определяет, кому где жить? Ветрова, — Кротов повернулся к Кукуше, — вы уже подняли руку. Я ещё не закончил вопрос.

Кукуша опустила руку. Подождала десять секунд. Кротов замолчал, выжидаяще глядя на неё — серые глаза, густые брови, морщины вокруг губ (результат многолетнего неодобрения всего и вся). Кукуша выдержала паузу, затем спросила:

— Теперь можно?

— Можно.

— Язык — это не только дом бытия, но и мост между бытиями. Если бытие каждого человека — это его комната, то язык — это коридор. А диалог — когда ты выходишь в коридор и стучишься в соседнюю дверь. Но иногда люди заколачивают свои двери изнутри. И тогда никакой язык не поможет.

Кротов помолчал. Снял очки (тяжёлые, в металлической оправе, они оставляли следы на переносице), протёр их носовым платком (клетчатым, мятым) и надел снова. Аудитория замерла.

— Ветрова, — сказал он наконец, — вы сейчас описали **коммунальную квартиру**, а не экзистенциальную философию. Но... ладно. Засчитывается как оригинальная метафора. Однако откуда вы взяли, что люди заколачивают двери?

— Из жизни, — сказала Кукуша. — Мой сосед дядя Гриша два года не разговаривал с бабой Зиной из-за парковки. Это была заколоченная дверь. Потом мы сделали **круг**, и дверь открылась.

— Круг? — Кротов поднял бровь (одну — левую, что было редким событием). — Это ваша новая философская концепция?

— Это практическая соборность по Соловьёву. Я выяснила, что абстрактные идеи работают только тогда, когда их проживают телом, временем и — мандаринами.

— Соловьёв, — Кротов вздохнул так, будто у него болело всё сразу, — умер в 1900 году. Он не предполагал, что его идеи будут применяться во дворах с мандаринами.

— Тем лучше, — не сдавалась Кукуша. — Живые идеи работают. Мёртвые — лежат в учебниках. Вы сами говорили: философия, которая не может быть применена в быту, — это бесполезная игра ума.

Кротов замер. Посмотрел на Кукушу долгим взглядом — она не отвела глаз (хотя очень хотелось, потому что Кротов обладал гипнотической способностью заставлять студентов смотреть в пол). Затем профессор медленно, очень медленно, кивнул.

В аудитории кто-то хихикнул — кажется, второкурсник с филфака, который пришёл посмотреть, как философы мучаются. Кротов строго посмотрел на студентов (хихиканье прекратилось), но сам, как ни странно, **не рассердился**. Даже краешек его рта дёрнулся — возможно, это была улыбка. Кукуша видела такое впервые за четыре года учёбы. Она затаила дыхание.

— Продолжайте, Ветрова, — сказал Кротов. — Я запишу вашу метафору. Возможно, она попадёт в мою новую статью для «Вопросов философии».

— Вы напишете про коммунальную квартиру? — удивилась Кукуша. — В серьёзном журнале?

— Напишу про **язык как средство деблокировки онтологических дверей**. Это звучит солиднее. Но суть останется ваша. Не возражаете?

— Нет, что вы, — Кукуша просияла. — Я польщена.

Кротов что-то буркнул себе под нос — кажется, «безнадёжные молодые философы» — и продолжил лекцию. Но весь оставшийся час он поглядывал на Кукушу с таким выражением, которое можно было интерпретировать как **признание**. Или как несварение желудка. Но Кукуша выбрала первый вариант.

После лекции она вышла из аудитории сияющая, как начищенный пятак. В коридоре её ждал Павел — он приехал в МГУ на велосипеде (филологи иногда бывают спортивными, хотя это редкое явление) и стоял с букетом ромашек. Ромашки были жёлто-белые, в мятой бумаге (куплены в переходе метро у бабушки, которая торговала цветами и носками заодно), и пахли полем и почему-то картошкой.

— Ты с цветами? — спросила Кукуша, чувствуя, как краснеют щёки (она всегда краснела некрасиво — пятнами, до самых ушей, и ненавидела это, но Павел говорил, что это «трогательно»).

— Ты сказала, что любишь ромашки, — Павел протянул букет. — Правда, ты сказала это в контексте полевых цветов и свободы как экзистенциальной категории. Но я решил, что ромашки — это безопасно. Не розы (намёк на страсть), не лилии (намёк на смерть), не гладиолусы (намёк на бабушкин огород).

— А что не так со страстью?

— Страсть — это хорошо, — Павел поправил очки. — Но я филолог. Я предпочитаю сначала **изучить объект**, а потом уже страдать.

— Ты собираешься страдать?

— Обязательно, — серьёзно кивнул Павел. — Это входит в программу. У каждого филолога есть программа страданий. Я записался на неё добровольно.

Они пошли в студенческую столовую — дешёвую, шумную, вечно забитую, с длинными очередями и запахом пережаренных котлет, который врезался в память на всю жизнь (Кукуша была уверена, что через двадцать лет она узнает этот запах с закрытыми глазами и заплачет от ностальгии). Кукуша взяла суп-пюре из тыквы (оранжевый, как мандарин — она не могла удержаться от ассоциации), гречку с котлетой (котлета была подозрительно серой, но есть всё равно хотелось) и компот из сухофруктов (жидкость цвета «болотная тина», на вкус — ничего).

Павел — салат из свёклы (зачем-то с черносливом), рис (сухой, рассыпчатый, словно его готовили на пустыне) и чай (в стакане с подстаканником, потому что столовая берегла традиции).

Они сели у окна, из которого был виден университетский двор — грязный, с прошлогодней листвой, но с **набухающими на деревьях почками**, которые обещали весну. Кукуша смотрела на почки и думала о том, что жизнь — это тоже такие почки. Сначала они маленькие, твёрдые, ничего не обещают. А потом — раз — и распускаются.

— Павел, — спросила Кукуша, зачерпывая суп ложкой (суп был густым, как философская мысль), — а почему ты филолог? Я знаю, ты любишь слова. Но почему именно филолог, а не, скажем, лингвист или журналист?

— Лингвисты изучают структуру языка — фонетику, морфологию, синтаксис, — Павел откусил кусок риса и задумался. — Им важно, **как устроено слово**. А филологи — его душу. Мне важнее душа. Я хочу понимать не только то, что сказано, но и то, что имелось в виду. И что осталось недосказанным.

— Как у Соловьёва, — сказала Кукуша. — Он говорил, что душа мира — это София, вечная женственность. А ты, получается, ищешь Софию в литературе?

— В языке, — поправил Павел. — В каждом слове есть что-то женственное и таинственное. Вот слово «мандарин». Что в нём? Твёрдый согласный «м», мягкий «д», взрывная «р», гласные, которые делают его сладким на слух. А внутри — солнечный свет, запах Нового года, детство, мандариновые корки в батарее. Филолог **чувствует** это. Лингвист — только слышит. Как Хайдеггер, знаешь? Он тоже различал «слышание» и «слушание».

Кукуша отложила ложку. Суп подождал.

— А ты мог бы прочитать мне что-нибудь? Ну, стихи. Наизусть. Не Пушкина. Что-нибудь другое.

Павел улыбнулся, отпил чай (чай остыл, стал горьким, но он не пожаловался) и, чуть смущаясь (наверное, потому что в столовой было много людей, и некоторые уже оборачивались), прочитал негромко, почти шёпотом:

Я вас любил: любовь ещё, быть может,

В душе моей угасла не совсем;

Но пусть она вас больше не тревожит;

Я не хочу печалить вас ничем.

Кукуша замерла. Она знала эти стихи с детства — мама читала их на ночь, когда была в хорошем настроении. Но сейчас они звучали иначе — как будто Пушкин написал их специально для неё и для Павла. Для филолога, который читает стихи в столовой между супом-пюре и компотом из сухофруктов. Для философа, который держит в руке мандарин и не может его съесть, потому что слушает.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.